

Вегетарианство

- Первая ступень

Первая ступень

I

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определенной сущности дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьезно, а только притворяется. Правило это неизменно остается верным как в материальных, так и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не вытопив потом, и не выметя печи и. т. д., так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни проверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям -- отсутствию хлеба -- очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведет добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы бы могли узнать, серьезно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признанно полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

И потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания ее в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения добрых качеств есть необходимое условие движения доброй жизни и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей ступени. Как в учениях браминов, буддистов,

конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учителя человечества, как религиозные, так и нерелигиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остается только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни но только при отсутствии низших добрых качеств, обуславливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чем состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставив свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле божией достигают любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую, жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведет людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда одни, то и путь к ним должен быть один, и первые шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же — бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как отец ваш небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей. Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше

достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу. Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения. С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении выше человека, не обладающего этой добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении; христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту находится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших степеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве, — в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенству. И потому истинное христианство в своем проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству отца небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьезность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естественно думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства[32], не может стремиться к этому с той энергией и серьезностью, с которою стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных усилий. А не стремясь к этому с полною серьезностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

Учение о том, что личные усилия не нужны для достижения человеком духовного совершенства, а что есть для этого другие средства, является причиной ослабления стремления к доброй жизни и отступления от необходимой для доброй жизни последовательности.

Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих добродетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя и от всякой необходимости борьбы со своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те верующие, выставляя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, в роде служения науке, искусству, человечеству, -- во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни, и довольствуются тем, что претворяются, как на театре, что живут доброю жизнью.

Такие люди, отставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедовать любовь к богу и людям без самоотречения и справедливость без воздержания, т. е. проповедовать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к богу и людям без самоотречения, другие -- гуманность, служение людям, человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности давным-давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что "никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (*Nul assuredment n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son necessaire ou sur celui de sa famille*), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить противно обычаям". (Это место из святого Фомы: *Nullus enim inconvenienter debet vivere.*) "Но после того, как отдано должное нужде и внешним приличиям", говорит далее энциклика, "обязанность каждого -- отдавать излишек бедным".

Так проповедует глава одной из самых распространенных теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуются любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства,

несмотря на такие ясные изречения, как: "кто не возьмет креста своего... кто не отречется от отца, матери... кто не погубит жизнь свою..." - люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что сам считаешь для себя приличным.

Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяю и себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первую добродетелью в жизни было воздержание и было понятно, что всякая добродетель должна начинаться с нее и проходить через нее. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей степени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному современному ее учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. Изнеженности суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утонченнее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана, -- суть не что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же -- это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка и литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц, -- я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожим на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, -- и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того, что составляет действительную нравственную красоту, -- заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и но, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, но сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отметить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отметить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и к удивлению своему видит, что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребенок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни -- и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь сидеть то, что делается в душах лучших из этих

старательно самими родителями погубляемых детей.

Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем пире, совершенно атрофирована эта способность.

Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, умения исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведением труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для приобретения всех других, -- благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо, если молодой человек--натура нравственно слабая, но чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с непроснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются и тогда начинаются внутренняя мучительная борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объедению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство, -- и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека, сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку -- Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет "возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадая долгие часы с погибшим, но милым созданием"... Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали помешанные хлеба в истопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.

Трагизм такой жизни действительно ужасен. И трагизм этот, каков он был в те времена для Герцена, Огарева и других, таков он и теперь для многих и многих так называемых образованных людей нашего времени, удержавших те же взгляды. Человек стремится жить доброго жизнью, но та необходимая последовательность, которая нужна для этого, потеряна в том обществе, в котором он живет. Как 50 лет тому назад Огарев и Герцен, так и большинство теперешних людей убеждены, что вести изнеженную жизнь, есть сладко, жирно, наслаждаться, всячески удовлетворять своей похоти -- не мешает доброй жизни. Но, очевидно, добрая жизнь не выходит у них, и они предаются пессимизму и говорят: "таково трагическое положение человека".

VII

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, что именно разумели люди нашего времени под словами "добрая жизнь", когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь. В самом деле, стоит только на

время отрешиться от привычного взгляда на нашу жизнь и посмотреть на нее -- не говорю с точки зрения христианской -- но с точки зрения языческой, с точки зрения самых низших требований справедливости, чтобы убедиться, что здесь не может быть и речи ни о какой доброй жизни.

Всякому человеку в нашем мире для того, чтобы, но скажу начать добрую жизнь, но только начать хоть немного подвигаться ней, надо прежде всего перестать вести злую жизнь, надо начать разрушать те условия злой жизни, в которой он находится.

Как части слышишь, как оправдание того, что мы не изменяем нашей дурной жизни, рассуждение о том, что поступок, идущий в разрез с обычной жизнью, был бы ненатуральным, был бы смешным, или желанием выказаться, и был бы от того не добрым поступком. Рассуждение это как будто сделано для того, чтобы люди никогда не изменили своей дурной жизни. Ведь если бы вся жизнь наша была хорошею, справедливою, доброю, то ведь только тогда всякий поступок, согласный с общею жизнью, был бы добрый. Если же жизнь на половину хорошая, на половину дурная, то для всякого поступка, не согласного с общей жизнью, столько же вероятия быть хорошим, сколько и дурным. Если же жизнь вся дурная, неправильная, то человеку, живущему этой жизнью, нельзя сделать ни одного доброго поступка, не нарушив привычного течения жизни. Можно сделать дурной поступок, не нарушив обычного течения жизни, но нельзя сделать хорошего.

Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести. Добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе -- к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают ее все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Если передвинуть точку опоры рычага от длинного конца к короткому, то этим не только увеличится длинное плечо, но укоротится еще и короткое. Так что, если человек, имея одну данную способность любви, увеличил любовь и заботу о себе, то этим он уменьшил возможность любви и заботы о других не только на то количество любви, которое он перенес на себя, но во много раз больше. Вместо того, чтобы кормить других, человек съел лишнее, и этим не только уменьшил возможность отдать это лишнее, но еще себя лишил вследствие объединения возможности заботиться о других.

Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя -- тоже не на словах, а на деле. Обыкновенно же бывает так: других мы думаем, что любим, уверяем в этом себя и других, но любим только на словах, себя же любим на деле. Других мы забудем покормить и уложить спать, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать покормить себя и уложить себя спать, так же как мы забываем это сделать относительно других.

Мы говорим "добрый человек" и "ведет добрую жизнь" про человека изнеженного, привыкшего к роскошной жизни. Но человек такой -- мужчина или женщина -- может иметь самые любезные черты характера, кротости, благодушия, но не может вести добрую жизнь, как не может быть острым и резать самой хорошей работы и стали нож, если он не наточен. Быть добрыми и вести добрую жизнь значит давать другим больше, чем берешь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя все то, что он получает от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий я пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других, -- так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидели нашей, что мы нисколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью. Человек, мужчина или женщина, спит па постели с пружинами, двумя матрацами и двумя чистыми глаженными простынями, наволочками, на пуховых подушках. У кровати его коврик, чтобы ему не холодно было ступить на пол, несмотря па то, что тут же стоят, туфли. Тут же еще необходимые принадлежности так, что ему не надо выходить. Окна завешаны шторами так, что свет не может разбудить его, и оп спит до какого ему поспится часа. Кроме того, приняты меры, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно, чтобы его не тревожили шум и мухи и другие насекомые. Он спит, а вода горячая и холодная для умывания, иногда для ванны или для бритья, уже готова. Готовится и чай или кофе, возбудительные напитки, которые выпиваются тотчас же после вставания. Сапоги, башмаки, калоши, несколько пар, которые он запачкал вчера, уже чистятся так, что они блестят, как стекло и на них нет ни пылинки. Также чистятся разные заношенные предшествующим днем одежды, соответствующие не только зиме и лету, но весне, осени, дождливой, сырой, жаркой поп до. Приготавливается вымытое, накрахмаленное, разутюженное чистое белье с пуговками, запонками, петельками, которые все осматриваются приставленными к тому людьми. Если человек деятелен, он встает рано, т. о. в 7 часов, т. с. все-таки часа два, три после тех, которые всё это готовят для него. Кроме приготовления одежд для дня и покрывала для ночи есть еще одежда и обувь для времени одеванья, халаты, туфли, и вот человек идет умываться, чиститься, чесаться, для чего употребляет несколько сортов щеток, мыл и большое количество воды и мыла. (Многие англичане и женщины особенно гордятся почему-то том, что они могут очень много вымылить мыла и вылить на себя воды.) Потом человек одевается, причесывается перед особым от тех, которые висят почти во всех комнатах, зеркалом, берет необходимые ему

вещи, как то: большей частью очки или *pinse-nez*, лорнет, потом раскладывает по карманам: платок чистый, чтобы высморкаться, часы на цепочке, несмотря на то, что везде, где он будет, почти в каждой комнате есть часы; берет деньги разных сортов, мелкие (часто в особой для того машинке, избавляющей от труда найти то, что нужно) и бумажки, карточки, на которых напечатано его имя, избавляющие от труда сказать или написать; книжку белую, карандаш. Для женщины одевание еще много сложнее: корсет, прическа, длинные волосы, украшения, тесемочки, ластики, ленточки, завязочки, шпильки, булавки, брошки.

Но вот всё кончено, начинается день обыкновенно едой, пьется приготовленный кофе или чай с большим количеством сахара, едят булки; хлеб первого сорта пшеничной муки с большим количеством масла, иногда свиного мяса. Мужчины большей частью при этом курят папиросы или сигары и затем читают газету свежую, только что принесенную. Потом хождение из дома на службу или по делам, или езда в экипажах, нарочно существующих для перевозки этих людей. Потом завтрак из убитых животных, птиц, рыб, потом обед такой же, при большой скромности из трех блюд, -- сладкое блюдо, кофе, потом игра -- карты, и игра -- музыка, или театр, чтение или беседа в мягких пружинных креслах при усиленном и смягченном свете свечи, газа, электричества, -- опять чан, опять еда, ужин и опять в постель, приготовленную, взбитую с чистым бельем и с очищенной посудой.

Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь.

Но добрая жизнь есть жизнь того человека, который делает добро людям; как же может делать добро людям человек, живущий так и привыкший жить так? Ведь прежде, чем делать добро, он должен перестать делать зло людям. А сочтите всё то зло, которое он, часто сам не зная этого, делает людям, и вы увидите, что ему далеко до добра людям, и много, много ему надо совершить подвигов для того, чтобы искупить делаемое им зло, а что подвигов-то он, расслабленный своей похотливой жизнью, никаких производить и не может. Ведь спать он мог бы и здоровей и физически, и нравственно, лежа на полу на плаще, как спал Марк Аврелий, и потому все труды и работы матрацов и пружин и пуховых подушек и ежедневной работы прачки, женщины, слабого существа со своими женскими слабостями и родами и кормлением детей, полоскающей его, сильного мужчины, белье, -- все эти труды могли бы не быть. Он мог бы лечь раньше и встать раньше, и труды гардин и освещения вечером могли бы тоже не быть. Мог бы он спать в той же рубашке, в которой ходил днем, мог бы ступить босыми ногами на пол и выйти на двор, мог бы умыться водой у колодца, -- одним словом, мог бы жить так, как живут все те, которые работают всё это на него, и потому всех этих трудов на него могло бы не быть. Могло бы не быть и всех тех трудов для его одежды, для его утонченной пищи, для его увеселений.

Так как же такому человеку делать добро людям и вести добрую жизнь, не изменив свою изнеженную, роскошную жизнь. Не может нравственный человек, не говоря христианин, но только исповедующий гуманность, или хотя только справедливость, не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготовляемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, которое естественно представляется всякому простому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губительными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами: этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даем им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно нести добрую жизнь, не усвоив по порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

VIII

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие; и первую добродетель, которую должен усвоить человек, если он хочет усвоить последующие, есть то, что древние называли благоразумием или самообладанием.

Если в христианском учении воздержание включено в понятие самоотречения, то тем не менее последовательность остается та же самая, и приобретение никаких христианских добродетелей невозможно без воздержания -- не потому, что кто-либо это выдумал, а потому, что таково существо дела.

Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна,

человек должен начинать с основных, -- таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и мною других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нашем же мире, где до такой степени потеряно, и так давно потеряно всякое серьезное отношение к приобретению доброй жизни, что самая первая добродетель -- воздержание, -- без которой другие невозможны, считается излишней, -- потеряна и та постепенность, которая нужна для приобретения этой первой добродетели, и о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

А между тем так же, как первое условие доброй жизни есть воздержание, так и первое условие воздержанной жизни есть пост.

Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги.

Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство же всегда было и есть первый признак обратного -- недоброй жизни, и к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени, -- на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные, -- главный интерес жизни большинства людей нашего времени--это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жрание. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьет, сколько может.

Чем больше он съест, тем больше он не только считает себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждения поддерживают его образованные люди, которые именно так и смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (и чем уверяют их доктора, утверждая, что самая дорогая пища, мясо--самая здоровая), в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище, -- хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но все это для огромного большинства -- ложь, все это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин -- это еда, особенно после первой молодости. Как поесть, что поесть, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, им одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. "Музей, библиотеки, парламент -- как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?" Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души, -- чего ждет большинство людей? -- Аппетита к завтраку, к обеду. В чем наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чем главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве случаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Попробуйте лишить их этого. удобства, и вы увидите, в чем их забота. Всё сводится к вопросам об еде, о цепи тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, но какому бы случаю они ни собирались: для крестин, похорон, свадьбы, освящения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого ученого, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они и притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная ода, и питье, и это гласное собрало их вместе. За несколько дней уже для этой самой цели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их, поваренки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, "работали".

Работали получающий 500 и больше рублей в месяц chef'ы, отдавая приказания. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Еще с таким же торжеством и важностью работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки... Работает армия людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем в среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба -- это жрание. Так там и понимают это дело. Жрание так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески во и по-французски свадьба и пир однозначны. Но в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать

вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле слова пресыщены -- никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и досмотрите, что продается: наряды и предметы для объедения.

В сущности это так должно быть и не может быть иначе. Не думать об еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестает есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит все огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворенно потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям.

Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому -- миллионы людей сильных, легких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше хлеб есть с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Еще лучше положить в эту поду овощи, и еще лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше съесть не вываренное, а только зажаренное. А еще лучше с маслом слегка зажаренное и с кровью, известные части. А к этому еще овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть еще рыбы, если приправить ее соусом и запить вином белым. -- Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое еще можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед. Удовольствие этого обеда можно еще много, много увеличить. И увеличивают, и увеличению этому нет пределов: и возбуждающие аппетит закуски, и entremets (легкое блюдо, подаваемое перед десертом), и десерты, и разные соединения вкусных вещей, и цветы, и украшения, к музыка за обедом.

И удивительная вещь,-- люди, каждый день, объедающиеся такими обедами, перед которыми ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь.

Пост есть необходимое условие доброй жизни; но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начинать пост, как поститься, -- как часто есть, что есть, чего не есть? И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так и нельзя поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище.

Пост. Да еще в посте разборка, как и с чего поститься. Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей.

Помню, как с гордостью за свою оригинальность нападавший на аскетизм монашества евангелик говорил мне: мое христианство не с постом и лишениями, а на бифстексах. Христианство и добродетель вообще с бифстексом!

В нашу жизнь въелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первого шага к доброй жизни, -- отношения к пище, на которое мало кто обращал внимания, -- что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифстексом.

Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над нами случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, спутаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека.

Точно также в области нравственной. Христианство и нравственность с бифстексом!

На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так чтобы убиваемые животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до Троицы. Скотины было много.

Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу "Ethics of Diet", мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидеть сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но всё совестно было, как всегда бывает совестно идти смотреть на страдания, которые наверное будут, но которых ты предотвратить не можешь, и я всё откладывал.

Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще неискусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину? И как всегда отвечают, он ответил: "Чего же жалеть? Ведь надо же". Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился и тогда согласился, что и жалко. "Что же делать, кормиться надо", -- сказал он. -- "Прежде боялся убивать. Отец, тот в жизнь курицы не зарезал". -- Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом "бояться". Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера.

Недавно я также разговаривал с солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать; и, как всегда, сказал, что это положено; но потом согласился: "Особенно, когда смирная, ручная скотина. Идет сердешная, верит тебе. Живо жалко!"

Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, охавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на первой телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидели, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно, я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг; но извозчик видел все подробности и, не отрывая глаз, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. "Ужели ж за это отвечать не будут?" -- проговорил он.

Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено богом, и главное привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства.

В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой.

-- Да, я слышал, что тут хорошее устройство, и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

-- Отчего же, я именно это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить.

-- Нет, нет, я не могу.

Замечательно при этом, что этот человек -- охотник и сам убивает птиц и зверей.

Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах.

Строение -- красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в 1/4 десятины, огороженный двор -- это площадка, на которую два дня в педелью пригоняют продажную скотину, -- и на краю этого пространства домик дворника; налево были, как они называют, каморы, т. е. комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым погнутым полом и с приспособлением для подвешивания и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке сидело человек пять мясников с фартуках, залитых кровью, с засученными, забрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили работу, так что в этот день мы могли сидеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневый, глянцево-блестящий и в углублениях пола стояла сгущающаяся

черная кровь.

Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил себе ложное, но очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся.

В следующий раз я пришел на бойню вовремя. Это было в пятницу перед Троицыным дном. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны камор.

У подъезда на улице стояли телеги с привязанными к грядкам и оглоблям быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающимися свесившимися головами, телятами подъезжали и разгружались; и такие же, полки с торчащими и качающимися ногами туш быков, с их головами, яркокрасными легкими и бурыми печенками отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сюртуках, с плетями и кнутами в руках ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом волов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или плохо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы.

Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков. Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья--убитый вол лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру.

Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидел, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударял. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил - жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминовый завод, другой -- подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь

перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волок одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было.

Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же: также снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел и, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал.

Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я видел то же, только ближе и потому яснее. Я увидел тут главное то, чего я не видал из первой двери: чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людям его нельзя бы были, и потому всякой раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали и вол подвигался.

Кончили волов одного хозяина, пополи скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный с белыми отметинами и ногами, -- молодое, мускулистое, энергическое животное. Его потянули; он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берет за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хрустнули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей, и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и, весь в крови, вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся. Но привычные мясники с молодцеватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост и опять бык очутился в камере, где его притянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой волосы, и, несмотря на кровь, нашел ого, ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнулась и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свеживали голову.

- Вишь, проклятий чорт, и упал-то не куда надо, -- ворчал мясник, разрезая ему кожу головы.

Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянно-остановившимися глазами, таким красивым цветом блестевшими за пять минут тому назад.

Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая камера, длинная с асфальтовым полом и с столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа; в длинной камере, пропитанной запахом крови, было только два мясника.

Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было и мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом каморе. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран также тихо лежал, как и мертвый, надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия придержал его поднимающуюся голову; малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резнул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напряжился и перестал махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва.

А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными голосами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями?

И, смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно-исключающие друг друга положения:

Первое, что она, в чем уверяет ее ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи и что для ее слабого организма ей необходима пища мясная; и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страдания животным, но переносить и вида их,

А между тем слаба-то она, эта бедная барыня, только именно потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей; не причинять же страданий животным она не может потому, что пожирает их.

Х

Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим не необходимо, но на что-нибудь нужно? -- Ни на что. (Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, и которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники и они сами; отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда все старое, отживающее.) Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд, пьянство.

Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель не совместима с бифстексом, и как только пожелают быть добрыми, бросают мясную пищу.

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет.

Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок; и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни, -- первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимой этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка -- убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. Безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? -- спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, всё больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище, и сознательно -- в проявившемся с особенной силой и принимающем всё большие и большие размеры движении вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, все убыстряясь и убыстряясь: всё больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету; всё больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи; и за границу с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров.

Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению царства божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода на верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы.

Комментарий И. Петровицкой

Статья была задумана Толстым в апреле 1891 г. как предисловие к «прекрасной, нужной» книге о вегетарианстве Х. Уильямса «Этика пищи» «The Ethics of Diet by Howard Williams M. A.» (Лондон, 1883). «Домашние взялись переводить», а сам он помогает в переводе. В то же время она была направлена на обличение «обжорства богатых» людей. В Дневнике Толстого раскрывается замысел: «Надо бы написать книгу о жрании. Валтасаров пир... Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жранием» (запись 25 июня 1890 г.). В процессе работы статья «об обжорстве» превратилась в гневную проповедь против «объядения» и праздности сытых, живущих в роскоши людей.

В художественных и публицистических сочинениях 1880-х гг. прозвучала мысль Толстого о необходимости духовного нравственного самосовершенствования, о делении на Божеское и человеческое, мирское. В трактате «О жизни» Толстой объяснял, что многие люди видят цель своей жизни в удовлетворении разрастающихся потребностей животной личности, что это вовлекает человека в бездну отчаяния и страданий.

Необходимым условием, первой ступенью нравственной христианской жизни Толстой считал самоограничение, самоотречение, воздержание, обуздание своих страстей, похоти, что требует труда, личного усилия, напряжения всех духовных сил человека. Собирая материал для «Предисловия», Толстой читает с интересом литературу по этому вопросу: статью о постниках, присланную ему М. В. Алехиным, статью А. Н. Бекетова «Питание человека в его настоящем и будущем», которую советует В. Г. Черткову издать в «Посреднике».

6 июня 1891 г. он посетил тульскую бойню. О полученных впечатлениях он на следующий день сделал запись в Дневнике, с ужасающими подробностями рассказал об этом в IX главе статьи, которая в процессе работы получила название «Первая ступень».

Толстой писал статью «об вегетарьянстве, обжорстве, воздержании» с июня до конца августа 1891 г.

Первоначально писатель назвал статью «Забытая добродетель», затем – «Лестница добродетелей», затем – «Первый шаг добродетелей». Последний вариант – «Первая ступень». Главной здесь является мысль о необходимости воздержания для каждого человека, стремящегося к духовному совершенству. Сознательный выбор между роскошной, неограниченной в желаниях жизнью и жизнью добродетельной становится основным условием нравственного движения: «Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь»; «для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего

приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство».

Писатель настойчиво убеждает, что каждому необходимо научиться ограничивать свои желания, соизмерять, контролировать свои потребности (хотя, с огорчением замечает писатель, считается, что чем больше потребностей, чем они утонченнее, «тем лучше»).

Движение вегетарианства, пишет Толстой, идет «последние 10 лет, все убыстряясь и убыстряясь: все больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету»; «вегетарианство есть важный шаг, <...> служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени».

«В делах доброй жизни», утверждает Толстой, особенно важно соблюдение правильной последовательности: «Если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок». Первое действие, первая ступень на пути восхождения по «духовной лестнице» – пост, воздержание от животной пищи, от потакания своим страстям, похоти.

Толстой призывает каждого, «серьезно и искренно» стремящегося к нравственному совершенствованию, к восхождению к вершине духовной жизни, осознать, «что хода на верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы».

Впервые статья была напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии» (1892, кн. 13, май) по настоятельной просьбе его редактора Н. Я. Грота; перепечатана в ряде изданий: газетах «Новое время», «Окраина» (1892, № 54–56); «Московский листок», «Биржевые ведомости». Была переиздана в 1893 г. «Посредником» в виде вступительной статьи к книге Х. Уильямса «Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания для человека. Собрание жизнеописаний и выдержек из сочинений выдающихся мыслителей всех времен»; в том же году включена в девятое издание «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (т. 12). По мнению В. Г. Черткова, из-за больших цензурных сокращений статья «много потеряла в своей силе и правдивости» (Т. 87, с. 151). Цензурой были изъяты высказывания Толстого о церковном христианстве, о высших классах, «поглощающих на свои прихоти в день сотни рабочих дней», и о рабочем народе – стариках, детях, женщинах, которые измучены «трудом, бессонными ночами, болезнями, проводят целые жизни, работая на нас те самые предметы комфорта, роскоши, которые они не имеют и которые для нас составляют излишество, а не необходимость».

«Первая ступень» включена в сб. произведений Толстого «Первый шаг» (Копенгаген, 1893). Отдельно издана в 1891 г.

ПСС, т. 29.